

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

В.Р. Чоланюк

«ЖИВАЯ МЕТАФОРА» ПОЛЯ РИКЁРА И ЕЁ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Аннотация. Статья представляет собой исследование антропологического содержания «живой метафоры», связанного с герменевтикой «мира текстов» в теории известного французского учёного и философа. Предметом подробного рассмотрения является интеллигибельный характер «живой метафоры», сообщаемый ей нарративной интригой, антропологический вектор которой интерпретируется во временном соответствии. Таким образом, в статье реализуется попытка представить антропологическое значение «живой метафоры» через ряд символических мест в текстах Поля Рикёра, проблематика мира и смыслы которых предполагаются интерпретирующим существом. Методология исследования заключается в современном прочтении и философской интерпретации дополнительных смысловых значений текста относительно антропологического осмысления феномена «живой метафоры» в наследии Поля Рикёра. Автор приходит к выводам об антропологических приоритетах исследования «живой метафоры» в том смысле, в котором метафорический дискурс является референтным моментом между предпониманием мира действия, подчиняющегося накопленному цивилизацией человеческому опыту, и рефигурацией повседневной реальности посредством свободной языковой деятельности в форме интриги.

Ключевые слова: символика зла, бесконечность, расщеплённость просвета, повествовательная идентичность, историчность, интенциональность, временная устойчивость, метафорическая референция, дистанцирование, идея интриги.

Abstract. This article represents a research of anthropological content of the “living metaphor” associated with hermeneutics of the “world of texts” in the theory of a prominent French scholar and philosopher Paul Ricœur. The subject of the research is the intelligible nature of the “living metaphor” delivered by the narrative intrigue, the anthropological vector of which is interpreted in the timely correspondence. Thus the article makes an attempt to introduce the anthropological importance of the “living metaphor” through the number of symbolic episodes in the texts of Paul Ricœur, in which the problematics of the world and the essences are suggested as an interpreting subject. The methodology of the research consists in the modern perspective and philosophical interpretation of the additional conceptual meanings of the text with regards to the anthropological understanding of the “living metaphor” phenomenon within the Paul Ricœur’s heritage. The author comes to the conclusion about the anthropological priorities in the “living metaphor” study in the aspect, where the metaphoric discourse is a referential moment between the initial understanding of the world of action which complies with the acquired by civilization human experience, and refiguration of the daily reality by the virtue of fluent language activity in a form of intrigue.

Key words: distancing, symbolism of evil, infinity, split of light, narrative identity, historicity, intentionality, temporal resistance, metaphoric reference, idea of plot.

Изначально, согласно Рикёру, только в языке выражается онтологическое понимание субъекта. Поэтому важно искать именно в метафорическом соответствии суть антропологической референции для всей онтологии действий в рассказе. С другой стороны, чтобы иметь представление о развитии предлагаемой «живой метафорой» Рикёра нарративной реорганизации мышления, необходимо, конечно же, переместиться от конечного этапа его твор-

чества, отмеченного сборником теоретических статей «От текста к действию» (1991) [1], к монументальному труду Гадамера «Истина и метод» (1960) [2], и только затем задаваться вопросом, что же в герменевтических трудах Рикёра послужило антропологическим толчком к образованию повествовательной функции в тексте. При этом необходимо существенным образом проследить эволюционную символику деятельности, которая бы на место, скажем, «действенно-исторического со-

знания» могла бы поставить «повествовательную идентичность».

Речь, следовательно, идёт о том, чтобы прийти к тому способу, каким антропологическое значение могло бы в какой-то мере расставить точки над «и» в метафоре Поля Рикёра, причём герменевтика не являлась бы значимой в своей конфронтации с её историческим описанием, взятым в других областях. Приходить же к итоговой роли метафоры значит оставаться в рамках префигурации об объективном познании и разделять предрассудок предпонимаемой также рикёровской фабулы знания. Надо решительным образом выйти из «не порочного круга» живых новообразований метафор и задаться вопросом о темпоральной устойчивости, которая есть соответствие всякому существующему. Таким образом, чтобы представить антропологический смысл живой метафоры вообще, надо поставить вопрос о том временном сопротивлении пониманию, которое существует текстом «здесь», т.е., в том воспроизведении понимания обстоятельств, которые не были нами связаны, добившись «теперь» соответствия. В самом деле, если воспроизведение предикативного соответствия есть как бы начало живых метафор, то ясно, что этому соответствию уже не является способом понимания, а становится способом действия существа, которое действует, их припоминая.

Предпосылки, на которых Рикёр остановился в своё время, тем самым, не позволили ему подробней проникнуться репродуктивным характером отношений между припоминанием, «правильным мыслимым воображением» в противовес поэтическому [3, с. 67]; к тому же такие границы реализуют самую сокровенную интенциональность Рикёра, поскольку забота о референции и интриге была для него главным подтекстом; в его трудах, историческое предпонимание устойчиво сопрягалось с поэтическим, и антропологический принцип метафоры явился, скорее, общей предтечей двойственного, символического отношения человека к традиционной истории не в жанре эпическом. Если следовать этому рассуждению, то преодоление временного сопротивления текста заключается не столько в том, чтобы референтным уровнем «ещё не высказанного» припоминания седиментировать движение к выявлению сходного понимания, а в том, чтобы углубляясь в анализ типичного мира интриги текста, достичь до значений его бытия с бытием исторически сходным, которое было бы более изначальным, чем жизненно новый мир, построенный без оснований философом.

Какую помощь может оказать логическая рефлексия Гегеля, если историко-нарративный вызов

мира интриги представить в числе метафорических аналогий, как сочетаемых оснований характеров мыслей, подобных дилемме, производимой за счёт мира действия повествующего? Что значит для мира читателя знать, что метафора – новое предикативное соответствие, и путь к ней – «устанавливать сходство», чтобы затем, населяя по правилам мир интригующий, согласовывать имена в нём известные, сначала «далёкие» друг от друга, но внезапно оказывающиеся «близкими»? [4, с. 7-8]. Эти вопросы последовательно нас приводят к антропологической проблематике интриги метафоры, которая повествует от имени «постгегельянского кантианства» мыслителя [5, с. 553]. Тем не менее, важно признать креативную одарённость Рикёра и до идентичного откровения, прежде чем обратиться к его трактовке бытия мира метафор в классических философских терминах. Очевидно, что первым на этом пути нам встретится ранний Рикёр, Рикёр периода «Символики зла», «конечности как виновности» [6]; именно у раннего Рикёра мы попробуем отыскать истоки антропологического основания живой метафоры в другом обозначенном текстами мире. Вклад Рикёра в интригу «живой метафоры» двойственен: с одной стороны, именно на начальном этапе лозунг «символ даёт повод к мысли» [12, с. 352] доводится до конца тем, что метафора «вынуждает понятийное мышление думать больше» (1975) [7, с. 358]; с другой, в шестидесятых, философ касается эсхатологии, причём не только непосредственно (коль скоро мы говорим, что временная устойчивость есть воспроизведение соответствия в виде реакции на распад и конечность, а таков «суд», бывший «неправедным» (Отк. 20:4)), но также и опосредованно, поскольку желание Рикёра свести анализ языка к «семантике показанного-скрытого» [8, с. 17], даёт человеку «без стадии разговорного языка» [9, с. 28] понять себя через множество случаев неразумности, как виновности в автономном тексте признания [10, с. 34].

Отсюда, по всей видимости, антропологическому значению метафоры в текстах Рикёра не следует придавать ни тот ограниченный смысл, как у тех авторов, которые, исходя из латинской риторики или неоплатонизма, сводили символы к аналогии, ни тот широкий, который имел место в интерпретации реальности с помощью символов у Кассирера, – ведь никакое суждение не может быть воспроизведено без признания у Рикёра нового соответствия в семантическом строе событий. «И здесь важно понять, что *sonatus* – это одновременно и Эрос», – говорит Рикёр, привычным образом обращаясь к Платону в «Демистификации обвинения», – это любовь, которая в человеке есть, но к

чему-то такому, чего мы лишены в её утверждении бытия. Поэтому и Ж. Набер не ошибается, когда с ним Рикёр соглашается, что позиции «быть» сознание обязано тем отношением, с которым его желание поддерживает первичную достоверность, «чьим законом является образ» [5, с. 466]. В самом деле, разве всякому «быть» не предшествует в первую очередь законодательный способ действия, совершаемый по необходимости во времени и в природе, всегда создаваемый образ которого и заставляет желать достоверного?

Теперь, каковым представляется, по нашему мнению, антропологическое значение метафорического утверждения «быть» платоновскому Эросу таким, каким его способ действия намечается в современном образе действия человека, связанного с чувством нехватки любви, желанием другого? Несомненно, что его ценность просвечивается в инновационном акте признания любви без осуждения человеческого эротизма «философом веры», который вполне совпадает с процессом, происходящим на фоне сексуального раскрепощения нравов, начиная с 60-70-х гг. в странах Западной Европы и Северной Америки. Этот пример показывает, каким образом направленность усилия в *analogia-entis* [7, с. 322] находит своё онто-теологическое применение в темпоральной структуризации символа из-за его нестабильности и дефицита. И в этом смысле, если, согласно Рикёру [3, с. 102], Шекспир утверждает, что «Время – это нищий», то да не оскудеет рука, дарующая Шекспиру бессмертие!

Имеется, стало быть, конфликт, напряжённость в соединении слов, относящихся к метафоре или символу в феноменологической герменевтике Поля Рикёра; с одной стороны, нацеленных на возникновение образа действия, конечным образом уже являющимся не способом действия, а знанием «бытия как» из текста; с другой, связанных с перевоплощением архаических символов. Первая тенденция, как становится ясным, по преимуществу заключается в формировании повествовательной идентичности, порождаемой «видением как» метафоры или символа; вторая же, состоит в пополнении текста, имеющего разрывы. «Что же есть время?», – задаёт вопрос Августин. «Если никто меня не спрашивает – знаю; если бы я захотел объяснить – не знаю; с уверенностью однако произношу – знают меня» [Quid est ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio; fidenter tamen dico, scire me [11, p. 215] (L. XI, C. XIV)]. В способности вымысла дать объяснение этому вроде безмолвному опыту и состоит референциальная функция, как метафоры, так и интриги в плане проекции мира текста.

Предыдущий анализ примеров, посвящённых языковой структуре выражений с двойным или множественным смыслом, таким образом, обнаруживает этико-правовое пространство, на фоне которого и воспроизводится живая метафора, представляющая собой методологическое средство модернизации французским мыслителем философии, истории, поэзии или лингвистики. Между тем, нетрудно заключить, что одной лишь семантики выражений с множественным смыслом недостаточно, чтобы антропологически передать сингулярность метафоры вообще. Действительно, напряжённость в центре метафоры, референциальный просвет которой онтологизируется стягиванием, снятием разнородного, упрочивает временное сопротивление метафоры так, что её значение имеет бесконечную интенсивность, которую нельзя до конца исчерпать. Например, в случае «феноменологической герменевтики» первичное снятие выявляет положенное самой деятельности: образ действия содержит для «Я» как бы два в одном отрицания, снятие которых удостоверяет расщеплённость просвета в нехватке открытия другого, во взаимопределении количественно конечного и количественно бесконечного, что заставляет признать истинную бесконечность смысла метафоры в духе её историчности.

Историчность метафоры, тем самым, есть факт чего-то существующего, обладающего качеством исторического характера, так что понятным выглядит то, зачем у Рикёра, «благодаря сложному взаимодействию между опосредованной референцией к прошлому и продуктивной референцией вымысла», человеческий опыт непрерывно переустраивается [3, с. 69]. Всякий анализ текста, таким образом, содержит метафорическое, и, предлагая связать референцию с пониманием, Рикёр надеется, наконец, удовлетворить глубинное требование его реконструкции. Именно эту цель преследует герменевтика французского мыслителя, намереваясь преодолеть дистанцию между минувшей культурной эпохой, которой принадлежит текст, и очевидным постмодернизмом в интерпретации. И здесь временное отстояние «живой метафоры» уже не является «наивной предпосылкой историзма» [2, с. 352], как мог бы утверждать Х-Г. Гадамер, поскольку, двигаясь за Рикёром, интерпретатору приходится погружаться в дух изучаемого текста, чтобы, помимо прочего, добиваться исторического понимания метафоры через открытие понимания другого.

Выше мы уже отмечали, как внедрение значений с двойным смыслом в семантику текста французским мыслителем вынуждает его отказаться от исторических идеалов однозначности представ-

лений, идущих не в ногу со временем. Интенциональность предикативного соответствия, следовательно, то в чём высказывается живая метафора, а высказывается она в разности, отрицающих друг друга потенциальных значений слов, полисемантически претворяющих её цельное в жизнь. Символический текст, стало быть, «дарится» в разности потенциальных значений, и преодоление его временной устойчивости – есть воссоздание исторически веса иного, исходя из совокупности символических мест, которые в связном, по силе их отражения, дискурсе, и составляют, согласно Рикёру, «ставку пари» толкователя [12, с. 355].

В такой интриге текст становится воссоздающим историческую дистанцию через ряд «диалектических» стадий стягивания («диалектические», в том смысле, что каждая стадия включает в себя снятие предыдущей). Первый этап представляет собой реализацию языка как метафорического дискурса в тексте. Важным условием для антропологического значения «живой метафоры» в рамках предмета остаётся интенциональность; стало быть, точно также как говорят феноменологи подобно Э. Гуссерлю, что сознание – есть сознание о чем-то, а Рикер, что язык является всегда языком о чем-то, – легко заключить, что и метафора является метафорой о чём-то.

Язык, потому, – это система, но произнесение дискурса, в том числе и метафорического, определяет доверие узнаванию предыдущего, ибо то, о чём у нас нет просто знака идеи в себе – и не высказывается. Как только язык артикулирован метафорически, он становится событием синтеза разнородного, он становится метафорическим дискурсом, ёмкость которого сводится к разности потенциальных значений во времени. Кроме того, метафорический дискурс сообщает нечто взаимоопределённое, чем один язык: он сообщает больший потенциал тому, кто говорит (он отдаёт) – и меньший тому, к кому сказано (он принимает). Различие языка в виде системы и дискурса метафорического, таким образом, может быть проиллюстрировано сравнением двух, связанных между собой высказываний: «расколотое Cogito (я)», и дискурса Ницше об этом, какой «превращает его в главного оппонента Декарта» [13, с. 27]. Говоря вкратце, событие дискурса состоит из понимания, созданной языком, компетенции при исполнении.

Вторая диалектическая стадия имеется тогда, когда метафорическое в дискурсе становится структурированным произведением. «Подобно тому, как язык, будучи актуализированным в качестве дискурса, превосходит себя как систему и осуществляет себя как событие, так же и [ме-

тафорический] дискурс, путём вхождения в процесс понимания превосходит себя как событие и становится [множественным] смыслом» [1, с. 78]. Произведение содержит в себе больше интриги и символики смысла, чем местами метафорический дискурс, так же как метафорический дискурс несёт в себе больше смысла, чем всего только дискурс или язык. В то же время, структурная интеллибельность произведения обыкновенно больше, чем замысел одного предложения, и поэтому сочетание предложений имеет значение в дополнение к каждому отдельному предложению. Произведение же создаётся, чтобы быть в той или иной степени значительным в антропологическом отношении, и это значит, что оно, структурируясь в жанре рассказа, поэзии, эссе... и т.д., старается отразить достоверность интриги метафорическим дискурсом. Таким образом, произведение в этом смысле части дискурса, который составлен, относится к жанру и имеет стиль, который, согласно Рикеру, всегда представляется текстом, имеющим проблематику.

Третья стадия – опосредованное текстом, дистанцирование тройное. Благодаря текстуальности дискурс достигает тройной историко-семантической автономии: она отдаляет его от интенции говорящего; восприятия первичной аудиторией произведённой интриги; экономических, социальных и культурных обстоятельств своего письменного появления. Опосредование текстами как будто метафорически ограничивает сферу истолкования письменностью и литературой в ущерб устным культурам. Однако это неверно. Ведь теряясь в древности устных высказываний, мы выигрываем в средствах выражения и распространения. Письменность, стало быть, открывает ресурсы метафорического дискурса в том антропологическом смысле, в котором его мы определили: сначала отождествив с большим потенциалом, напряжённостью во фразе, принадлежащим тому, кто говорит языком необычным, а затем охарактеризовав его как композицию последовательностей фраз в формальной интриге повести, поэмы или эссе. Таким образом, Рикер справедливо находит подобную «автономию» текста освобождающей: освобожденный от несвоевременных ограничений, текст создает свой собственный мир. Именно тогда, говорит Рикёр, зависит от читателя населить этот мир, находя в нем проблемные ситуации, которые проясняют его собственную ситуацию: «Что должно быть истолкованным в тексте является предлагаемым миром, который мог бы я населить, и где мог бы составить программу одной из моих, большей частью, собственных возможностей. Вот

что я называю миром текста, миром присущим этому уникальному тексту» [1, с. 86].

Такой мир текста является перспективой, с помощью которого читатель достигает самопонимания, и переход к этому является четвертым диалектическим ходом. Читатель достигает самопонимания посредством присвоения произведения, которое он может сделать благодаря дистанцирующему эффекту письменной формы, отделяющему это произведение от авторского замысла: «благодаря дистанцированию письменной формой, присвоение более не имеет какого-либо следа аффективного сходства с намерением автора» [1, с. 87].

Необходимо, впрочем, задуматься над тем, что означает самопонимание, если в присваиваемой нами письменно форме содержатся неживые метафоры. Ведь как признают П. Фонтаньё и П. Рикёр, старые метафоры выглядят подобно обычному языку, в то время как новые метафоры влекут за собой осуществление свободы в языке [7, с. 71-72]. Спорной отсюда является мысль, что только одно лишь желание понимать себя и направляет исходно таких присвоение [8, с. 26]. Почему спорной? Потому что древнее требование Дельфийского оракула: «Познай самого себя» [14, с. 172], – в конечном итоге всегда представляющее индивидуальный интерес для человека, на деле определяется тем изначальным влечением, каким «все люди от природы стремятся к знанию» [15, с. 165]. Метафорический дискурс, таким образом, может быть только референтным моментом между предпониманием мира действия, подчиняющегося накопленному цивилизацией человеческому опыту, и рефигурацией повседневной реальности посредством свободной языковой деятельности в форме интриги. Господство метафоры, таким образом, имеет как бы две стороны: с одной – оно с детства высказывает доверие узнаванию со всеми своими внезапными смыслами, в особенности вневременными; с другой – фиксирует в их завершённости взрослое состояние. Во втором случае речь законным образом идёт о самых, что ни на есть кардинальных возможностях слова; по отношению к этим возможностям символ и проспективен. «O my prophetic soul!», – способен сказать Гамлет [5, с. 183].

Мир текста, так как он своего рода духовный источник идеи, интриги, метафоры для герменевтики, неизбежно вступает в коллизию с миром реальным; однако, скорее всего, не чтобы его «переделать» и утвердить, либо предать отрицанию (как думает сам же Рикёр, а распространяют другие), но раскрепощает со-знание, находясь в недоступном для завершённого восприятия временном аспекте. И даже самая ироническая связь искусства и реаль-

ности была бы непостижима, если бы выраженная метафорическим дискурсом идея в интриге не заставляла бы человека являться ответственным за временное высвобождение от знания повседневного. Поэтому, если бы мир текста находился вне видимого отношения с реальным миром, язык не был бы так откровенно «опасен» в том смысле, в каком после Ф. Гёльдерлина и Ф. Ницше, а также и Ф. Бенжамина, слово берёт Поль Рикёр. «Нельзя, говорит он, – сказать, что прошлое ирреально, но прошедшая реальность, строго говоря, не подтверждается». И в герменевтике, в тесной связи, «открывается путь позитивного исследования взаимопересечений способов референций вымысла и истории – ассиметричных, но одинаково не прямых или опосредованных» [3, с. 68-69]. А именно, повествовательно-поэтическая референция вымысла отличается от дискурса исторического не тем, что первая вообще не касается текстовых документов, а второй полностью им идентичен (ведь можно бы было переложить в летопись и исторические былины, и, тем не менее, они бы оставались широкими или былинными как с метром, так и без метра); но тем, что исторический дискурс, говоря о произошедших событиях, накапливает знание их в векторной хронологии – вымысел же, часто её нарушая и заменяя другой, – весь в удивительном, т.е. в интриге и референции метафорической. Таким образом, историческая фабула опытнее, упорядоченней и «взрослее» в антропологическом отношении, чем уникальная и в речевом измышлении повествовательная: история более говорит об общем, рассказ – об особенном.

«Интрига – есть мимесис действия», – любит повторять французский философ, и общее в описании прошлого состоит в том, что в исторической деятельности нужно признать, к чему и стремится характер истории, перечисляя имена знаменитые; а особенное, к примеру, что сделал с ними Рикёр, так что они вообще получились. Отсюда ясно, что в историческом дискурсе следует более быть творцами имён, нежели фабулы, поскольку очевидно, что историческая интрига является исключительной по своему подражательному произведению, а подражает она, имевшему место в истории, действию. В самом деле, отмечая тот факт, что в ходе исторического развития акт повествования разветвлялся на многие литературные жанры, Рикёру приходится интерпретировать «временность опыта как общее основание истории и вымысла» [3, с. 60-61]. Вместе с тем, очевидно, что вымысел не соответствует общей организации в тексте, но только особенной: во-первых, идее интриги; во-вторых, дискурсу метафорическому.

Поэтому, если действие является наиболее обязательным компонентом интриги в феноменологической герменевтике, то антропологическое значение метафорического дискурса распределяется между опытом нового временного согласования, и тем продуктивным схематизмом, который стихийно и представляет в искусстве гармонию высвобождения. Рассмотрим, к примеру, интригу, где главным актором изображается вещей Олег [16, с. 243-246]. Так, из устройства фабулы, особо занимательным для удивления выглядит не столько то, что, поручая заботу о коне отрокам, он, в конце концов, наступает на его череп (идея интриги), а то, что он ни разу не вспоминает о нём при его жизни. Следовательно, поэт отказывает князю Олегу в «непроизвольно пришедшем воспоминании», которое Рикёр, ссылаясь на Аристотеля, характеризует как *rathos* и чувство [17, с. 51]. Бывает ведь, что спустя некое время, мы реагиру-

ем на те или иные впечатления, как на информационные раздражители, вызванные стесняющими «наш рай» обстоятельствами. Оные и выражаются во внезапно пришедших чувствах, сновидении, тенденции к остроумию. Однако всё-таки: «какова интеллектуальная характеристика интеллектуального усилия?», – в таком случае, может задаться вопросом Рикёр, рассматривая примерный вклад А. Бергсона в эту проблему [17, с. 53]. Ведь, если это усилие касается метафоризации, то ясно, что оно вторично по отношению к идее интриги, которая есть продукт, освобождённый от психологических интенций времени и непосредственности в антропологическом измерении.

Таким образом, об антропологических особенностях «живой метафоры» в творчестве Поля Рикёра, и об её интриге как подражании действию, вызванной временной устойчивостью, сказано предостаточно.

Список литературы:

1. Ricoeur Paul. From Text to Action: Essays in Hermeneutics, II, trans. Kathleen Blamey and John B. Thompson, Evanston: Northwestern University Press, 1991 [1986]. 346 pp.
2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики / Пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. 704 с.
3. Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика (Московские лекции и интервью) / Пер. с фр. М., 1995. 160 с.
4. Рикёр Поль. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. М.; СПб.: Университетская книга, 1998. 313 с.
5. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. И.С. Вдовиной. М.: Академический Проект, 2008. 695 с.
6. Ricoeur P. Philosophie de la volonte. Finitude et Culpabilite. II. La symbolique du mal, Paris: Auber, 1960. (English version 1967, The Symbolism of Evil, trans. Emerson Buchanan, Boston: Beacon)
7. Ricoeur Paul. Rule of Metaphor: The creation of meaning in language / Trans. Robert Czerny with Kathleen McLaughlin and John Costello. London and New York: Routledge Classics, 2003 [1977]. 465 pp.
8. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Пер. И. Сергеевой. М.: Медиум, 1995. С. 34.
9. Ricoeur Paul. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976 [unpublished in French]. 108 pp.
10. Simms Karl. Paul Ricoeur, Routledge: Taylor & Francis Group, London and New York, 2003. 155 pp.
11. S. Aurelii Augustini. Confessiones: ad fidem codicum Lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder, Lipsiae, 1837. 327 pp.
12. Ricoeur Paul. The Symbolism of Evil / Trans. Emerson Buchanan. Boston: Beacon, 1967. 362 pp.
13. Рикёр П. Я-сам как другой / Пер. с франц. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2008. 416 с.
14. Плутарх. О «Е» в Дельфах // Исида и Осирис: сб. / Пер. Н.Б. Клячко. М.: Эксмо, 2006. 464 с.
15. Аристотель. Политика. Метафизика. Аналитика / Пер. с древнегреч. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008. 960 с.
16. Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 16 т. Т. 2. М., 1947. С. 45.
17. Рикёр П. Память, история, забвение / Пер. с франц. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. 728 с.

References (transliterated):

1. Ricoeur Paul. From Text to Action: Essays in Hermeneutics, II, trans. Kathleen Blamey and John B. Thompson, Evanston: Northwestern University Press, 1991 [1986]. 346 pp.
2. Gadamer Kh.-G. Istina i metod: Osnovy filos. Germenevtiki / Per. s nem.; obshch. red. i vstup. st. B.N. Bessonova. M.: Progress, 1988. 704 s.
3. Riker P. Germenevtika. Etika. Politika (Moskovskie lektzii i interv'yuu) / Per. s fr. M., 1995. 160 s.
4. Riker Pol'. Vremya i rasskaz. T. 1. Intriga i istoricheskii rasskaz; M.; SPb.: Universitetskaya kniga, 1998. 313 s.
5. Riker P. Konflikt interpretatsii. Ocherki o germenevtike / Per. s fr., vstup. st. i komment. I.S. Vdovinoi. M.: Akademicheskii Proekt, 2008. 695 s.
6. Ricoeur P. Philosophie de la volonte. Finitude et Culpabilite. II. La symbolique du mal, Paris: Auber, 1960. (English version 1967, The Symbolism of Evil, trans. Emerson Buchanan, Boston: Beacon)

7. Ricoeur Paul. Rule of Metaphor: The creation of meaning in language / Trans. Robert Czerny with Kathleen McLaughlin and John Costello. London and New York: Routledge Classics, 2003 [1977]. 465 pp.
8. Riker P. Konflikt interpretatsii. Ocherki o germenevtike / Per. I. Sergeevoi. M.: Medium, 1995. S. 34.
9. Ricoeur Paul. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976 [unpublished in French]. 108 pp.
10. Simms Karl. Paul Ricoeur, Routledge: Taylor & Francis Group, London and New York, 2003. 155 pp.
11. S. Aurelii Augustini. Confessiones: ad fidem codicum Lipsiensium et editionum antiquiorum recognitas. Edidit Car. Herm. Bruder, Lipsiae, 1837. 327 pp.
12. Ricoeur Paul. The Symbolism of Evil / Trans. Emerson Buchanan. Boston: Beacon, 1967. 362 pp.
13. Riker Pol'. Ya-sam kak drugoi / Per. s frants. M.: Izd-vo gumanitarnoi literatury, 2008. 416 s.
14. Plutarkh. O «E» v Del'fakh // Isida i Osiris: sb. / Per. N.B. Klyachko. M.: Eksmo, 2006. 464 s.
15. Aristotel'. Politika. Metafizika. Analitika / Per. s drevnegrech. M.: Eksmo; SPb.: Midgard, 2008. 960 s.
16. Pushkin A.S. Pesn' o veshchem Olege // Pushkin A.S. Poln. sobr. soch.: v 16 t. T. 2. M., 1947. S. 45.
17. Riker P. Pamyat', istoriya, zabvenie / Per. s frants. M.: Izd-vo gumanitarnoi literatury, 2004. 728 s.